

ТАЙНЫЕ СООБЩЕСТВА

Перевод с венгерского – Оксана Якименко
по изданию: Peter Nadas © Fantasztikus utazáson.

. For presentational & educational purposes only
(серия letterra.org: 010)

ТАЙНЫЕ СООБЩЕСТВА

Любопытно, что Рихард Шварц в своем послесловии к книге, при всем искреннем стремлении к полноте, не упоминает ни знаменитые трансильванские голубцы, ни коложварскую капустную запеканку, ни капусту по секейски. Уж я-то знаю, что он знаком со многими из этих блюд – не раз пробовал их у нас на ужин. После ужина обычно заваливался на кухонный диван и даже иногда засыпал. Он не мог не заметить, что голубцы, которые можно отведать в Венгрии (если не считать капустные кнедли как их готовят в немецкоязычных деревнях, или мясной фарш с майораном и рубленой капустой, завернутый в свежие листья, отваренные в рассоле из-под квашеной капусты, на словацкий манер), готовят по трансильванскому рецепту. С большим, или меньшим успехом. Капустные кнедли мы как-то привезли ему из Ракошкерестуры в небольшой кастрюльке – чтобы наш друг не пропустил в жизни такое удовольствие. Коложвар он тоже не мог забыть. В середине семидесятых мы и там побывали вместе. Справедливости ради, надо сказать, что коложварскую запеканку он там точно не ел. В те годы в Румынии даже в гостиницах, предназначенных для иностранных туристов, есть было почти нечего. В Брашшо* пожилой официант самым естественным в мире тоном поинтересовался, не прикажут ли судари еще чего-нибудь к завтраку. Так и обратился: «судари». *Ob die Herrschaften noch etwas zum Frühstück wünschten.***

Для начала он подал нам на выдавшем лучшие дни фарфоровом блюде четыре печальных пластинки оплывшего сыра, четыре ломтика обжаренного бекона в застывшем

* В румынском варианте – «Брашов». (здесь и далее примечания переводчика)

** Не желают ли судари чего-нибудь на завтрак (нем.)

жире, четыре розетки с каплями мутного меда и пять кусочков вчерашнего хлеба с волос толщиной. В кофе плавало все что угодно, кроме непосредственно кофе. В качестве чая заварили желтовато-зеленые листья какого-то растения. Мой флегматичный шведский товарищ – журналист до мозга костей: никогда не спрашивает, говорит сам, скорее, ставит собеседника в определенную ситуацию, провоцирует, проверяет, словно бы по принуждению протестантской культуры стремится любой ценой выгнать зайца из куста, чтобы мы каждую минуту видели реальность, а не видимое, и понимали разницу между кажущимся и настоящим. Вот и на этот раз он с первого взгляда оценил профессиональные и языковые установки официанта и самым естественным на свете тоном ответил, мол, да, конечно, с удовольствием отведал бы молодого лучку, свежего масла, если есть – редиски, и еще, обязательно, два яйца всмятку. Старик сохранял полнейшее спокойствие. С поклоном, как положено, принял заказ и, повторяя «sehr wohl, sehr wohl»* на своем старорежимном немецком, удалился.

Накануне вечером люди из Секуритате, которые, сменяя друг друга, уже несколько дней сопровождали нас от самой венгерской границы, так обыскали наш номер, чтобы мы поняли: все вещи прошли основательный досмотр. В порядке предупреждения. И мы это заслужили. В Коложваре** нам удалось избавиться от них почти на целый день Золтан Каллош пообещал собрать вечером своих учеников, чтобы те все как следует рассказали. Сначала мы были приглашены на ужин, а потом должны были осмотреть его коллекцию***. Вечером следующего дня Золтан собирался отвести нас в последний сохранившийся «танцевальный дом»**** в Киде. Миндальничать мы не могли, от опасного почетного эскорта пришлось избавиться. Каллош был первым из встреченных нами в ходе нашего фантастического путешествия, кто не выказал никаких признаков страха или осторожничания. Нас было четверо. Два исключительно знающих и опытных жур-

* «Очень хорошо» (нем.)

** Румынский вариант названия города – Клуж.

*** Золтан Каллош (род. 1926) – крупнейший собиратель фольклора трансильванских венгров, его собрание насчитывает более 15 тысяч песен.

**** Táncház, букв. «дом танцев» (венг.) – в 1970-е гг. на волне возрождения национальных фольклорных традиций в таких домах, по старинной трансильванской традиции, стали проводиться вечера народной песни и танца. Позднее подобные дома открылись и для представителей других народностей, проживающих на территории Венгрии, а также – для венгров в Румынии, Словакии и других странах.

налиста с соответствующей аккредитацией: Рихард Шварц, давний сотрудник шведской газеты «Свенска дагбладет», и Мануэль Люкбер, журналист французской «Ле монд» – оба корреспонденты своих изданий в Вене. Третья участница – Сюзанна Виден, на тот момент, жена Рихарда; в то время она как раз переводила на шведский прозу Томаса Бернхарда. В поездке она участвовала в качестве шофера – возила нас на просторном семейном Вольво (позднее этот автомобиль сыграл в нашем невероятном путешествии жизненно важную роль). И, наконец, я сам в качестве гида и переводчика. К поездке мы основательно подготовились еще в Будапеште. Журналисты встретились с теми учеными, литературоведами, экспертами, которые могли лучше меня рассказать о радикальной политике Румынии в вопросах погашения национального долга, об особом положении трансильванских венгров и об истории формирования межнациональных отношений в регионе. Но было еще кое-что, чего они не знали. На самом деле, мы были самой заметной группой среди тех, кто пересекал венгеро-румынскую границу.

Две коробки тщательно отобранных венгерских книг, две пишущих машинки с венгерской клавиатурой и разнообразные продукты, привезенные из Вены – все, что мы везли в подарок знакомым и незнакомым людям – у нас моментально конфисковали на границе. Машину остановили, паспорта забрали. Обыскали все, только что личный досмотр не устроили. Потом вдруг стало тихо. Часа через полтора нас всех разделили и по одному отвели на допрос. В служебной комнате, где допрашивали меня, за соседним столом доводили до слез молодую венгерку – гражданку Румынии. Приказ повторялся снова и снова, в одних и тех же выражениях: девушка должна была по-румынски сообщить свое имя, у которого не было румынского соответствия. Она же снова и снова отвечала одной и той же румынской фразой, мол, по-румынски имя свое назвать не может, так как у него нет румынского соответствия. Я придерживался версии, что наша цель – посмотреть города Трансильвании. В какой-то момент венгерская девушка в отчаянии обратилась ко мне за помощью – почувствовала, что и я уже сыт по горло всей этой историей. Я успел сказать только, что подобные методы не способствуют росту авторитета Румынии. Не успел я закончить фразу, как у офицера, который вел мой допрос с помощью пожилого переводчика – потрепанного, с безвозвратно погасшими глазами – совершенно отпала

надобность в услугах переводчика. Он с такой силой стукнул кулаком по столу и так гаркнул на меня, что все помещение с бетонными колоннами отозвалось гулким эхом. Румынию твое мнение не интересует. Много будешь умничать, откажу в праве на въезд, глазом моргнуть не успеешь. Сказал почти без акцента. Как оказалось потом, в ходе параллельных допросов пограничники пытались разъединить нашу компанию. Иностранным журналистам сообщили, что их с радостью ждут в Румынии и не видят причин отказывать во въезде, меня же будут вынуждены развернуть обратно. Почему – не объяснили. С тем и выпустили из служебных кабинетов. Дали время, так сказать, обсудить сложившееся положение и дать, по возможности, оппортунистский ответ. Все трое единодушно настаивали на необходимости ехать со мной, объясняя это тем, что без меня все равно не смогут продолжать путешествие, ведь придется из вежливости везти меня обратно в Будапешт. Или все вместе, заявили мои попутчики, или они тоже не поедут. К тому же им придется представить ситуацию так, будто румынские власти, без всякой причины, воспрепятствовали въезду в страну иностранных журналистов. Последовали несколько часов ожидания. Сюзанна и Рихард сидели напряженные, серьезные и решительные, чуть побледневшие от гнева. Конфликт с влиятельными журналистами явно не отвечал интересам Румынии. Мануэль разгуливал вокруг задержанной машины, небрежно засунув руки в карманы и посвистывая. Со своим твидовым пиджаком «в елочку», повязанным под воротник рубашки шелковым шарфом, и очками в роговой оправе французский корреспондент ярким пятном выделялся на фоне выхолощенного официозного пространства. В конечном итоге, меня тоже выпустили из кабинета, где за соседним столом все еще продолжались психические опыты над человеком. «Скажите свое имя по-румынски» – «К сожалению, не могу по-румынски, это венгерское имя» – «Тогда назовите румынское соответствие» – «Не могу назвать, у него нет соответствия в румынском».

Позже, сидя в показательно развороченном номере брашовской гостиницы, можно было похвалить себя за предусмотрительность: на рассвете предыдущего дня я выдрал из записной книжки список с именами, адресами и телефонами, нужными для дальнейшего путешествия и все утро заучивал их наизусть, а потом, порвав листки на мелкие кусочки, спустил их в туалет. Список был немаленький.

Я стоял на коленях перед унитазом и следил, чтобы кусочки исчезли, но даже это не помогло избавиться от бредовой идеи, будто и это могут проверить. Еще больше сводило живот от мысли, что я могу забыть адреса, или, еще хуже, перепутать номера домов. В Коложваре так и случилось, правда, не по моей вине, когда мы искали дом Калошша на противоположной стороне заброшенной, незаасфальтированной улочки. Друзья фольклориста в Будапеште дали нам неверный номер дома. А эти сидят сейчас в подвале, вылавливают из канализации обрывки, чтобы аккуратно восстановить имена и адреса. К середине семидесятых паранойя режима и учреждения, обслуживавшие его параноидальную идеологию разрослись настолько, что разгадать, понять разветвленную параноидальную систему сквозь призму мелких личностных параноидальных проявлений было невозможно; человеческих сил не хватало, чтобы ограничить вред, наносимый ее действиями. Но и фантазмагорией все это нельзя было назвать, иначе бы мы не ощущали тайную работу аппарата, не страдали от ее последствий. Ответственность личности по отношению к другим людям от этого, естественно, не уменьшалась, наоборот, возрастала, а груз ее становился все тяжелее.

Жизненно важно было информировать друг друга и внешний мир. Секретные сведения сообщали особым голосом. Это был не шепот, а глухой звук. Чтобы предупредить собеседника о конфиденциальном характере информации. Иначе неоткуда было узнать, где какая опасность кроется, где ловушка, в которую, по неосторожности, может попасть любой. Сложилась система обмена подобных сведений, сеть передачи данных из проверенных источников. Единственной защитой была публичная огласка. Внешний же мир, по крайней мере, в первом приближении, слепо шел по пути собственных интересов и потому легко, а порой, и с удовольствием, оказывался в сетях реального социализма. Во избежание третьей мировой войны, мирного сосуществования мировых систем и поддержания успехов свободной торговли старые европейские демократии периодически охотно теряли чувство реальности. Или же собственную голову. Левые – голову, правые – чувство реальности. Однако, независимо от ориентации, и левые, и правые правительства с готовностью вели переговоры с Москвой через голову демократической оппозиции. Эта роль была отведена Будапешту, что и стало источником наших привилегий

в течение полутора десятков лет. Таким образом, удалось дискредитировать любое организованное сопротивление и оппозицию, по крайней мере, в Венгрии. Если Вилли Брандт и Янош Кадар настолько прекрасно понимают друг друга, что с радости бросаются в пляс, то Янош Киш и Янош Кеннеди действительно полные дураки. Значит, правда за реформаторами: смиренное и учтивое сотрудничество – другого пути нет. Серьезные издания по всему миру громогласно воспевали новшество Николае Чаушеску – неведомый прежде в социалистическом лагере националистический курс. Своим курсом Чаушеску работал против Москвы, подвергал оскорбительному сомнению одобренную президентом Джонсоном в секретной телеграмме доктрину Брежнева об ограниченной независимости. Во имя мирного сосуществования президент Джонсон не мог поступить иначе и снял с повестки дня вопрос о независимости малых восточно-европейских народов, без их на то ведома. Когда объединенные войска стран Варшавского договора захватили Чехословакию, он согласно кивнул: идите, милые, ялтинскому соглашению это не противоречит. Румынские войска не вошли тогда с остальными. Румынский диктатор отказался участвовать. Вовсе не потому, будто «социализм с человеческим лицом» казался ему таким уж привлекательным. Он не собирался поддерживать отчаянную попытку Дубчека, отнюдь нет. Последняя и самая кроткая попытка по спасению социализма, да и сам социалистический эксперимент Чаушеску нимало не интересовали. Перед глазами у него мог маячить пример Тито, зятянутого в белый френч, увешанного ленточками и орденами маршала, – тот уже несколько лет уверенной рукой вел свой корабль по волнам холодной войны.

Не говоря уж о благородной и безумной идее Чаушеску, будто Румыния за короткое время выплатит все свои долги. Этот шаг сразу же резко склонил политические и дипломатические симпатии больших традиционных демократий в сторону румынского диктатора. Кому же не понравится, если государственный долг астрономических размеров будет выплачен с процентами, и не надо будет списывать его под видом убытков. Если, в интересах мирного сосуществования, не приходится финансировать нерациональный и лишенный всякой этики режим, который ведет себя враждебно, деньги пускает по коррупционным каналам или тратит на оружие, да еще поддерживает в миллионах пустую

надежду, будто у капитализма есть альтернатива. Французский МИД, такой щепетильный в вопросах свободы, независимости и братства, прямо-таки опьянел от новоиспеченного курса на независимость, заявленного румынским диктатором. Политики с набережной д'Орсэ предпочитали не интересоваться, что на самом деле следует из политических новшеств Чаушеску. Репрессии, голод, бесправие, смерть от холода, расовая ненависть. Националистическая крестьянская оперетта служила ко всеобщему развлечению.

Сказалось это и на личных отношениях дома, в Венгрии. Агнеш Немеш Надь* метала грома и молнии, мол, из-за нашего с Миклошем Месёй** упрямства не дают послаблений. Упрек абсурдный по своей безумной логике, но в этом безумии обнаруживался и некий реализм. На фоне декораций большой политики, изображавших мирное сосуществование, малейшее сопротивление или просто недовольство укрепляло и возбуждало тех, кто стремился вновь ужесточить размякшую диктатуру. Именно это и проделал Чаушеску у себя в стране, дав предупредительный сигнал остальным. Напрасно я говорил о важности личного протеста, или хотя бы молчаливого сопротивления, то есть внутренней эмиграции, напрасно призывал не отказываться от этой роли – пусть и самой ничтожной, ведь на кону стояло будущее, а профессиональный долг обязывал нас считать перспективу. По мнению Агнеш, я не имел ни малейшего понятия о природе диктатуры, потому и был готов идти на риск; она утверждала, будто я не знаю, что такое настоящая, жесткая диктатура и что будет, если мы вернемся в прошлое, а вот Миклош, наоборот, должен бы знать. Я набрался смелости и проорал в ответ: Прекрасно знаю. Не хуже вашего. С другой стороны, было очевидно, что подвергать опасности других, ради сохранения ясной картины мира, чувства реальности и трезвости мысли, я не мог. Я не имел права перепутать номер дома или забыть чей-нибудь телефон. Однако я не собирался смущать своими сведениями демократический мир или тех, кто высоко ценил венгерские эксперименты по консолидации социалистической диктатуры. Любое

* Немеш Надь, Агнеш (Nemes Nagy Ágnes) (1922-1991) – известная венгерская поэтесса, автор многочисленных эссе.

** Месёй Миклош (Mészöly Miklós) (1921-2001) – выдающийся венгерский писатель, в годы социализма находился в непростых отношениях с режимом, многие его книги запрещались к публикации, самого Месёй отстраняли от работы, подвергали «идеологической критике» его произведения.

общество цепляется за очередные заблуждения и не любит, когда их пытаются отобрать. А если новых не предлагают – тешит себя параноидальными фантазмами. Максимум, чего я хотел добиться – помочь друзьям яснее видеть. Чтобы не надо было спорить об очевидных вещах. Долгие годы я пытался сделать так, чтобы иностранные корреспонденты правых взглядов не использовали полученную от меня информацию для подкрепления традиционного арсенала своей антикоммунистической аргументации. Подобные действия были не просто лишены логики, но и противоречили их собственному чувству реальности, поскольку во всем обширном регионе не было более ни одного коммуниста. Свои же клише не позволяли им реалистично оценить ситуацию. С другой стороны, мне не хотелось, чтобы полученные от меня сведения поддерживали связанные с социализмом надежды или антикапиталистические настроения левых, ведь кроме реализованного социализма, другого социализма нет. Его ошибки не связаны с конкретными личностями, они функционально обусловлены, а преступления – симптоматичны. Диктатура империи – вот она, советский империализм – пожалуйста. Именно так выглядит теоретический социализм, реализованный на практике, и никак иначе. На фоне противостояния двух сверхдержав и гонки вооружений очередные обманы и заблуждения, а также новые надежды и бредовые идеи поддерживали в головах и душах безумие и хаос; поэтому даже столь примитивное реалистичное намерение было нелегко довести до конца. Действия в регионе, где одни пятились в сталинизм, а другие боролись с различными вариантами социалистической диктатуры, требовали крайней осторожности. Простой осмотрительности было недостаточно. Любое движение тут же фиксировали спецслужбы. Затем следовали публичные или тайные расправы и репрессии.

В те годы из-за постоянного присутствия тайной полиции, массы бессмысленных указов и распоряжений огромный регион замер, не смея пошевелиться. Брежнев болел, у него явно наблюдалось размягчение мозга. Периодические попытки показать, что генсек все еще жив, каждый раз превращали империю, со всей ее реальной властью, в объект насмешек. Первый же шаг, сделанный по красной ковровой дорожке, заставлял Брежнева шататься так, что двум помощникам приходилось со спины поддерживать распухшее от лекарств тело. С искаженным тупой grimасой лицом генсек шел к гостю по сверкающему огнями мраморному залу

и утыкался в стену. Тело принадлежало не ему, а упрямой советской медицине. Речи советского лидера уже невозможно было передавать в прямой трансляции – генсек был не в состоянии выдать даже те слова, которые приходили ему на ум случайно. В империи, жившей под охраной атомного оружия, воцарился склероз. Речь шла не о нескольких неделях, а о двух десятилетиях. Началом распада могли стать переговоры с Дубчеком в Агчерне*, в отогнанном на запасной путь спальном вагоне. Припадок имперской ярости вполне мог привести Брежнева к инсульту, после которого мозг генсека затухал на протяжении еще полутора десятков лет. В речи и менталитете населения распавшейся империи до сих пор видны последствия долгой агонии. Пространство для индивидуальной деятельности исчезло, духовные запасы были исчерпаны, рамки профессиональной подготовки определялись антиселекцией, публичный обмен идеями прекратился, вступать с кем-либо в диалог не рекомендовалось. Каждый был озабочен только одним – просто выжить, перемочь, потянуть время. Главное – получить отсрочку, полегче отделаться. Однако спустя десять лет уже никто не мог объяснить, зачем ему нужна эта отсрочка, у кого он ее просил, от чего хотелось отделаться и сколько еще времени придется пережить вместе с подрастающими детьми. Об этом и сегодня незачем вспоминать. При такой высокой степени обезличенности, точнее, лишения личности, необходимо научиться презирать себя и человека вообще. Презрение к себе и к человеку становится лейтмотивом всякой профессии и образования, в целом. Тяжело раненное самосознание находит единственную радость во всеобщей привычке жаловаться. Получается, что человек в своем страдании не одинок, ведь страдают все, исключений нет, жизнь – сплошная нужда и кошмар, а ритуальное сетование позволяет в этом убедиться. В отсутствие рефлексии жалобы заменяют действие и солидарность. Ритуальное сетование внедрило, таким образом, систему презрения к себе и другим во все сферы – в медицину и литературную критику, в архитектуру и сантехнику. А какая разница? Презрение, словно кислота, разъедало само понятие ответственности. Обреченность на выживание пожирала сознание будущего и вместо последнего предлагала тяжкий груз. По степени жестокости диктаторских приемов и проявлениям сервиль-

* Венгерское название приграничного словацкого городка Чьерна.

ного менталитета, цель которого – выжить, пересидеть, затаиться, смолчать, вывернуться, Румыния и Венгрия существенно отличались друг от друга. Однако речь шла об одном и том же, пусть и в разной степени.

Учить подрастающее поколение жизни или воспитывать его для выживания – совершенно разные вещи. Человек, ориентированный на выживание, может впоследствии вырваться из скорлупы рабства лишь ценой огромных усилий.

Именно общие черты, а не различия в степени их проявления позволяли увидеть тончайшую грань между вопросами этики и основополагающими проблемами существования. Для постигшего этот хитроумный принцип, всякое страдание обретало смысл – пусть и ценой самого постижения. Биться головой об стену он не мог. Это не имело смысла. Если же человек действительно переставал шевелиться, если обрекал себя на неподвижность из страха, или просто из осторожности, если превращался в крохотного жучка – он делал именно то, чего ждал от него аппарат угнетения. Но не действовать невозможно. Путь рабского соучастия был открыт для каждого. Такой путь не мог отвечать ни смыслу существования человека, ни его этическим запросам. Чтобы привести его в соответствие, надо было шаг за шагом преобразовывать культуру. Что и было сделано. На жутком перегное – продукте вынужденного действия, вместо смысла и этических потребностей выросли захватившая миллионы система рабского соучастия и автономная имперская культура. Подчеркиваю, автономная имперская культура. Основа которой – жесточайшее невежество, привычка считать, будто всю совокупность культуры можно, в принципе, сохранить нетронутой, а любые предметы и понятия, кажущиеся ненужными, с точки зрения инстинкта выживания, следует сбросить с парохода. И такая практика серьезно сказывается на будущем.

Мы располагаем достоверными и захватывающими свидетельствами внутренней жизни при нацистской диктатуре. Хроники выживания Ганса Эриха Носсак*, случайно сохранившиеся дневники национал-консерватора Фридриха Персиваля Рек-Маллецевена**, безжалостный филологи-

* Ганс Эрих Носсак (Hans Erich Nossack) (1901-1977) – немецкий писатель, член «Группы 47», в своих дневниках подробно описал бомбардировки Гамбурга в 1943 г.

** Фридрих Персиваль (Парсифаль) Рек-Маллецевен (Friedrich Percyval Reck-Malleczewen), монархист, философ-любитель и крупный баварский землевладелец вел свой дневник с 1936 по 1944 г. тайно и прятал

ческий анализ языка нацистской Германии, выполненный Виктором Клемперером* в его военных записках, и так далее. Все эти тексты демонстрируют конструктивную картину, совершенно непохожую на то, как выглядела внутренняя жизнь имперской диктатуры, сформированной под знаком коммунистических, точнее, социалистических идей. Социалистическое раболепие – последовательный саботаж, бойкот, стабильная теневая экономика, тайком проводимые групповые грабежи, закрывание глаз на острые проблемы по взаимной договоренности, спонтанная ложь, срабатывающая как защитный рефлекс, система самообороны, выстроенная на жалобах и постоянном нытье, злоупотребление фактами и данными, преувеличения (как в положительную, так и в отрицательную сторону), ничем не доказуемые и распространяющиеся на мельчайшие детали, обман, фальсификации, взяточничество – все это работало как подпольная система семейных и племенных связей, подпитываемая коррупционными каналами. Внутренняя жизнь при национал-социалистической диктатуре также носит избирательный характер, однако такая диктатура почти до последней минуты проводит строжайшую систематизирующую грань между законным и незаконным, жестко очерчивает полномочия и твердо придерживается принципа ответственности. Она не дает себя игнорировать, ведь это может позволить любому найти лазейку или, в нашем случае, выжить. Отсутствует вторая экономика, с помощью которой можно было бы скорректировать первую. Нет второй системы оповещения, которая бы стирала или поясняла информацию официальных источников. В имперской культуре московитского типа одновременно сосуществовали две реальности – сервильная и симулирующая. Одна работала внутри другой. В долгосрочной перспективе симуляция оказалась сильнее всего аппарата и системы средств базирующейся на раболепии социалистической диктатуры. Своей усердной подпольной деятельностью культура симуляции сумела подорвать,

его в лесу под Мюнхеном. Несмотря на демонстративное презрение к Гитлеру (автор называл его «цыганским бароном» и сравнивал с персонажами комиксов), власти долгое время не трогали его, но отказ принять участие в последнем этапе войны привел Рек-Маллецевена в Дахау, где он и был казнен в феврале 1945 г.

* Виктор Клемперер (1881-1960) – филолог-германист, автор книги «LTI. Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога», написанной на основании дневников, которые Клемперер вел во время войны, и изданной в Дрездене в 1946 г. Основная тема книги – исследование роли языка в манипулировании массовым сознанием.

обойти, выпотрошить и поглотить официальную систему, но даже сегодня радоваться тут особенно нечему. С одной стороны, какая может быть причина для радости, если структуры, избегающие законности, сохранились практически в нетронутном виде; с другой стороны, действуя в системе семейно-племенных связей, культура симуляции не ограничивалась рамками предметного или материального мира, но коверкала и переписывала каждое слово родного языка под знаком презрения к себе и к человеку вообще, сотрудничая, таким образом, с властью диктатуры. Параллельно трансформировались и обязательные правила поведения. Симуляция стерла из сознания все прежние дефиниции. В конечном итоге, стерлась и сама обязанность культуры эти дефиниции формулировать. Были стерты духовные правила приличия, потерявшие смысл в отсутствие регулярного и систематического диалога. Официальный язык и тайный язык для обмена идеями на уровне семьи или племени за несколько десятилетий слились воедино, тем самым, закрепив изоляцию региона. Свободных выборов не было, политической легитимностью социалистический режим не обладал, однако языковую легитимность режима осуществило само население, которое до сих пор не знает, с какими обязательствами связан свободный выбор и какую ответственность он налагает. Какой бы партии ни принадлежало большинство в правительстве, приученные к произволу люди ведут себя по отношению к этому правительству так, будто не они его выбирали. Когда-то им навязали роль равнодушных, которую они играли не без удовольствия – теперь же население эмоционально и лингвистически отождествляет себя с этой ролью и до сего дня не может от нее отказаться. За неимением рефлексии играть ее, наверняка, придется еще не одному поколению. Все это, вкуче с языковой практикой и измененными поведенческими нормами, служит сохранению региональной изоляции и игнорирования. Миллионы людей и по сей день изъясняются на воровском жаргоне, не имеющем никакого отношения к реальности, в которой они живут. Эти люди говорят о предмете беседы на языке, искаженном согласно местным правилам симуляции, но сами говорящие не сознают присутствия искажений и деформаций и никогда не осознают. Максимум, что они могут испытывать – постоянное раздражение, и это совершенно справедливо, ведь такие люди не могут себя внятно выразить, не понимают друг друга, не умеют придерживаться одной темы,

а миру никак не удастся взять в толк, о чем же они говорят, и что вообще здесь происходит.

Жертвой мучительных языковых изменений стали и социалистические реформы. Язык реформы и ее понятийный аппарат были частью большой симулятивной системы. Грандиозный реформаторский эксперимент, предпринятый с целью согласовать рациональность действий и принципы социализма, защищал систему, которая не поддавалась реформированию как раз с точки зрения рациональности. За этой системой стояли оборонительные намерения множества мелких единоличных приспособленцев. Они-то и составляли по-настоящему рациональный элемент системы. Толпы мелких карьеристов-интеллектуалов хватались теперь не за религиозную веру в коммунизм, но прятали отчаянный интерес собственных действий под маской доверчивости и благих намерений. Как будто они не знали, что препятствием для реформирования системы служит сама система. Цинизм или самообольщение как принципы восприятия человека ради успешной карьеры уничтожали в сознании последние следы саморефлексии.

Как раз в те годы Рихард Шварц спросил Белу Чикоша Надя* (как считалось – одного из отцов экономической реформы), над чем тот работает. «Пытаюсь вписать круг в квадрат», – объяснил известный экономист. Ответ соответствовал реальности, однако Чикош Надя, по всей вероятности, не осознавал, насколько его слова противоречат правилам этики. Доверчивые на вид или скептически настроенные реформаторы долго корпели над планам реформ, способных легализовать спонтанно функционирующую и игнорирующую принцип общего блага теневую экономику, встроенную в систему самозащиты семейно-племенного взаимодействия. Организованный по семейно-племенному принципу черный рынок надо было отмыть дочиста, но так, чтобы он не превратился в рыночную экономку. И ведь правда работали над этим не один десяток лет, при том, что миллионы лю-

* Csikós Nagy Béla (1915-2005) – выдающийся венгерский экономист, один из авторов экономической реформы 1968 г. и т.н. «нового экономического механизма», занимал высокие государственные посты активно сотрудничал с СЭВ, позднее – в качестве консультанта Всемирного банка работал в Индии, Китае, Ираке, после прихода к власти Горбачева был приглашен в СССР. Отношение к нему соотечественников было и остается крайне неоднозначным: с одной стороны, Чикош Надя поддерживал в мире престиж венгерской экономической науки, с другой – являл собой пример конформизма и умелого соблюдения «линии партии».

дей обретали благосостояние в условиях теневой экономики, вступившей в сговор с преступным миром, лишенной всяких представлений о солидарности и действующей по принципу самосуда; они же вполне удовлетворялись набором этических доводов в пользу коррупции и преступности.

Старик-официант принес-таки три тоненьких луковых перышка на красивом старинном блюде. Свежими они были в том смысле, что выросли на старой луковице, с которой сняли слой шелухи. Редька там тоже была. Не красная редиска, а черная редька с тмином, заранее подсоленная. В те годы в подобных обществах изобретательность, импровизация, мимикрия, симуляция считались крайне удачной моделью поведения. Основной вопрос – как и что можно заменить, выкупить, скрыть, выдать за нечто совершенно противоположное, переименовать, затушевать, а главное, что можно тайком присвоить. И, поскольку даже те, кому было положено, не называли вещи своими именами, точнее, постоянно и непредсказуемо давали вещам имена, совершенно не для них предназначенные, со временем слова в речи из названий превратились в осторожные ссылки, упоминания. Дошло до того, что исчезла разница между «да» и «нет».

Повседневная потребность что-то выдумывать и изобретать не только превратилась в ловушку на языковом уровне, но и усложнила сам процесс выживания. Не будь граждане такими находчивыми и способными к языковой симуляции, социалистические режимы, погрязшие в дефиците, и двух лет бы не протянули. При помощи собственной смекалки и притворства люди, каждый в отдельности, фактически сами поддерживали невыносимое для себя положение. Они и сегодня это знают и продолжают делать вид, будто это не так. Не одно поколение уже научилось равнодушно прозябать в невозможных условиях. Новым поколениям передается все тот же опыт: чтобы выжить сегодня, надо поступиться – пусть даже и собственным завтра. И раз уж они это делают, следует говорить, мол, да, таков человек, он низок и бесчестен. Приготовленная таким способом редька издавала жуткую вонь. Старик-официант словно бы принес с собой резкий запах черной редьки и распространил его по некогда шикарной гостинице среди покрытых белыми скатертями столов и старых бархатных диванов, на которых

уже никто не сидел. Если классифицировать запахи, то это можно определить как нечто среднее между детскими какашками и свежим ароматом солдатских портянок. Однако на вкус редька, вместе с вонью, была вполне ничего. Рихард поблагодарил официанта с изощренной учтивостью, а потом довольно резко поинтересовался, не забыл ли тот насчет свежего масла и двух яиц всмятку. «Простите, господа, как можно», – не моргнув глазом, отозвался пожилой официант, затем царственно поклонился и, дважды повторив «к вашим услугам», наконец, удалился. Он и был бы к нашим услугам, если бы было чем услужить. Как в анекдоте, сумевшем коротко передать суть экономики дефицита: если ведро есть – воды нет, есть вода – веревки нет, веревка есть – ведра нет. Официант придерживал понятие «услуги» до тех пор, пока масло и яйца не вернутся в эти края в результате какой-нибудь случайной катастрофы. Однако, есть масло, или нет его, – с позиций будущего подобное откладывание понятия на потом было делом рискованным.

К началу девяностых вместе с частной собственностью, рыночной экономикой, многопартийностью и коррупцией, контрабандой наркотиков и торговлей оружием в регион вернулись не только масло и яйца – в конечном итоге, это все вещи довольно простые, – наряду с правом на личную свободу проникли и сознательно подпитываемая, взвинченная до насилия национальная и этническая вражда, и активно подстегиваемая ненависть к представителям других народов, участились проявления расизма и гомофобии, все эти древние идеи о необходимости отлучить «чужих», убить соседей и истребить отдельные народы, с прилагающимися мотивами, мифами, культурами, благословением, выданным епископами от имени христианства, и полчищами кабинетных преступников разнообразной партийной принадлежности – профессионально несостоятельных, малообразованных, полуграмотных, обозленных людей, воплощающих свои навязчивые эротические идеи в сфере политики. И это еще не все. В эту же программу входят потакание всяческому сброду, возникновение полувоенных организаций и частных военных структур, упорное запугивание, организованные погромы, вооруженные конфликты, изгнание различных этнических групп из мест их проживания, а также массовые убийства. Спустя пятьдесят лет проводится новый эксперимент по геноциду с десятками тысяч жертв. Практически война. Жертвы исчисляются уже со-

тнями тысяч. Гибнут люди, рушатся города, стороны несут огромные территориальные потери. И снова гибнут люди, льется кровь, – в программу обязательно входит и некрофильский культ потерь. Братские могилы. Эксгумация. Памятники на каждом углу и беспросветная историческая амнезия.

Стоит разобраться, что непосредственно составляет предмет амнезии. Было бы легкомыслием полагать, будто амнезия – результат разгула воинствующего национализма, религиозного фундаментализма, расовой ненависти, гомофобии или вырвавшейся на свободу уличной преступности, масштабных нарушений правопорядка, дестабилизации в обществе (или, скажем, на удивление большого числа пенсионеров-инвалидов), а не продукт живой культуры симуляции. Разве это не последняя грандиозная попытка самоорганизованной формации, застывшей между раболепием и притворством, защитить себя, сохранить преступную систему связей, коррумпированную до мозга костей. Разве не стремится она легализовать тeneвую экономику, как когда-то хотели сделать реформаторы, сами себя записавшие в наивных. Если тeneвая экономика в момент обретения свободы не сдала позиции или не узаконила разветвленную систему своих связей, почему она должна это сделать через двадцать лет успешного функционирования. Задача системы – интегрировать тeneвую экономику, с ее тайной структурой, логистикой и уже вошедшим в повседневный обиход брутальным воровским жаргоном и сомнительными правилами поведения в упорядоченный капитализм. Точно так же, как она сотрудничала с ней все двадцать лет своей гегемонии. Система не настроена на жертвы или потери. С чего бы. Полиция, прокуратура, суд, институты здравоохранения и социального обеспечения с готовностью служат ей. Отчего бы не пожелать сохранить все, что строилось и налаживалось десятилетиями, в ущерб и наперекор всем и вся, возводилось, точно рыцарский замок. Желание спасти наработанное вызвано не глупостью и свирепостью системы – у нее просто ничего больше нет. Миллионная армия рабов другой жизни тоже не знает. Оглядываясь на прежнюю историю, мы видим, что реальная самоорганизация общества и стремление выжить, носили в этих краях оборонительный

характер, однако, в условиях свободы, они смогли беспрепятственно проявить свою силу и характер в наступательной манере. Речь идет не о бесцельной и далеко не бессмысленной демонстрации силы, а максимум о преувеличении – одном из самых отлаженных защитных механизмов симуляционной культуры. Пока организованный, упорядоченный капитализм не успел перестроить внутреннюю структуру симуляционной культуры и не сделал ее относительно прозрачной, надо успеть еще разок, напоследок ограбить соседа, пусть даже и публично, и еще раз ограбить живущее за счет коррумпированных связей, самоуправное, чванливое, не по средствам расточительное государство, будь оно бедным как церковная мышь. От этого зависит будущее симуляционной культуры. Если на симуляционную культуру нападают одновременно снаружи и изнутри, принуждают ее к легитимизации и заставляют вспоминать, надо заявить, будто нападению подвергается нация. Если организованная коррупция, пользуясь своими тайными каналами, больше не в состоянии грабить смертельно ослабевшее государство, если она не может, прикрываясь заявленной истинной и окончательной сменой режима во имя нации и, главное, христианской любви, перенаправить деньги беднейших слоев населения, в первую очередь, себе в карман и уж только потом в церковную и партийную кассу, если у гигантского лагеря рабов забирают надежду на то, что завтра можно будет ограбить соседей-евреев или, по крайней мере, избить до полусмерти парочку цыган, то ни людей, ни боеприпасов для борьбы за выживание на два фронта у такой системы не останется.

Как только социалистическая экономика начала рушиться, организованный капитализм с его гигантскими средствами, мировой конкурентоспособностью, системой международных связей и вековыми традициями в деловой сфере, стал опираться на невидимые структуры теневой экономики, постепенно разрушающей государство. Эгоизм – надежное звено былой связи. Система условий капиталистического эгоизма ограничена исторически и законодательно, хотя бы капитализм периодически и переставал придерживаться законов, или забывал об умеренности, продиктованной историческим опытом, не говоря уже о правилах приличия. Что делать с симуляционной культурой в долгосрочной перспективе, капитализм не знает, даже если решил использовать ее в новых демократиях бессознатель-

но или из прагматических соображений. Периодически он выражает беспокойство, но не может уразуметь, почему его не понимают, точнее, почему игнорируют именно в этом, самом важном вопросе. С тем, кто изо дня в день трудится только ради выживания и поэтому не знает ни «завтра», ни «вчера», кто не в состоянии определиться в собственном мнении, не может сказать «да» или «нет», кому недостает знаний, чтобы выразить нюансы, кто не способен с жаром говорить о своем деле и не имеет твердых понятий, – с таким человеком невозможно договариваться и сотрудничать в будущем. Капитализма нет как без спонтанных, быстрых, внезапных решений, так и без надежного, долгосрочного планирования, – именно поэтому ему необходимо постоянно и тщательно согласовывать личные и общественные интересы, внимательно учитывая все тонкости. Потребность капитализма в стабильности слишком велика, и он не может вносить уличные беспорядки в свои планы.

По прошествии двадцати лет переходному периоду и последним отсрочкам явно должен наступить конец. Независимо от партийной принадлежности, собственникам и главным игрокам теневой экономики надо бы легализовать свое теневое хозяйство, инвестировать, идти на риск, но вместо этого они заявляют – опять-таки независимо от политических пристрастий, – что, на таких условиях, экономика, свободной конкуренции им не нужна. Привилегию постоянно и систематически грабить государство они не отдадут. Если они это сделают, придется положить конец периоду первоначального накопления капитала. Сознание нелегальных предпринимателей стремится исключить риск благодаря госзаказу, обеспеченному по коррупционным каналам. Зачем им брать на себя личную ответственность и имущественный риск во имя общественного блага. Уж лучше тогда уличные беспорядки.

И все же их скрытую мотивацию можно легко понять. Даже если они полностью ограбят государство и соседа, при столкновении с организованным капитализмом, шансов у теневиков не много. Нарботанный деловой опыт в новых условиях бесполезен. Воровской жаргон на иностранные языки не переведешь. Накопленный нелегальным путем за счет государства и беднейших групп населения капитал в рабочий капитал не превратишь. Очевидно, что теневым предпринимателям демократия как свободное объединение свободных личностей не нужна. Если же есть только такая

демократия, то они ее не хотят. Диктатура с ее теневой экономикой – вот к чему они стремятся.

Война в Югославии – лишь первая и самая уродливая форма проявления подобного изоляционистского менталитета, переходящего из обороны в наступление и жаждущего сменить идеологию с коммунистической на националистическую. Но ведь все посткоммунистические общества страдают от того же самого прошлого – замалчивают его, быстро подвергают забвению и усердно переписывают. Игнорируют свое безразличное прошлое. Симулируют память. Они страдают не от поражения на Косовом поле или в битве при Мохаче и не от трианонского мирного договора, искалечившего нацию, – это всего лишь предлоги, фантомные боли, фантазмагии. Посткоммунистические общества страдают от утраты той самой непарадной реальности, которую они так находчиво и с выдумкой создали для себя в борьбе за выживание. Страдают от собственного почти векового невежества. Им бы признаться в том, что оба выбранных радикальных политических курса потерпели крах, с точки зрения этики – ради своего же будущего. Но они не хотят вспоминать. Не хотят подводить итоги. Да и не могут хотеть. Такое под силу только личности, исключительно в первом лице единственного числа. Самосознание и самоуважение каждый терял сам. За неимением самосознания и самоуважения, выражаясь старомодно, без чувства собственного достоинства, индивид не в состоянии говорить – у него нет для этого языка. И обижается, когда ему о чем-то подобном напоминают. Реальность – и та кажется ему оскорбительной. Человек замыкается в роли жертвы, ищет козла отпущения, жалостливо тарашит глаза, крутит старые пластинки, создает никогда и нигде не виданный коллективный культ поражений и потерь. В истории такие общества, безусловно, новое и неведомое явление, они болезненно воспринимают любой законный общественный порядок. Принцип их существования – незаконность, максимум, на что они согласны, так это на коллективизм, построенный на личной анархии.

Монархический строй тоже против них. Скорее всего, любой общественный строй будет против них. В Сербии, Румынии, Венгрии в минуту принятия решений наследники престола всегда были наготове. Но поддерживала их лишь кучка истеричных сторонников легитимного пути, а большинство оставалось равнодушным. В болгарском политическом вакууме монархия обрела-таки собственную

скромную роль, но ее по-быстрому свергли – посадили на коррупцию, а потом разоблачили в мгновение ока. Большая часть населения региона, спустя двадцать лет, уже не хочет сменить симуляционную культуру ни на демократию, ни на монархию. Людям нужно слабое государство. В эгоизме они напрактиковались, а понятие общественного блага им не знакомо. Идея договора тоже не знакома, по тернистому пути, ведущему к согласию, идти не хотят. И об ответственности понятия не имеют, если другого выхода нет с делают вид, будто принимают ее, а как поставят перед фактом, сразу отказываются. Этику убеждения не отличают от этики ответственности, и потому не в состоянии выполнять свои же демократические обязательства. Да и не хотят их выполнять. Эти люди выступают с требованиями – им даже в голову не приходит, что кто-то может потребовать выполнения обязательств и от них. Представитель подобного общества только делает вид, будто он демократ, – с не меньшей убежденностью раньше он притворялся коммунистом. Сама демократия не кажется ему слишком убедительной, он быстро догадывается, что демократическая система окончательно выхолаживает семейные и племенные узы общества, построенного на самоорганизации. Организованный капитализм уже основательно встроен в это общество, благодаря его изобретательности, а неосторожность и характерная для региона хроническая нехватка средств позволила организованному капитализму с этим же обществом основательно расправиться.

В самую последнюю минуту оно хочет любой ценой спасти коллективизм симуляции, укорененный в системе семейно-племенных связей. Понятие общественного блага такая формация всегда подменяла собственным благом, и, таким образом, оправдывала постоянный грабеж, соучастниками которого были все.

В своей антологии «Близкие, но другие» Рихард Шварц задает вежливо-сдержанные вопросы о недавнем прошлом: о балканской войне, прогремевшей как гром среди ясного неба, о погибших и еще живых ее участниках, а потом, невольно, начинает спрашивать обо всем, что готовится в других странах региона в жанре погрома, убийства или геноцида. Из послесловия к сборнику, к сожалению, не удастся

выяснить, сколько авторов из южной Европы получили приглашение поучаствовать в антологии. Известно только, что принял его двадцать один человек. Почти все – известные авторы, однако, с точки зрения национальности, не все так просто. Но ведь книга как раз об этом: о новом кризисе и новых возможностях самоидентификации, об одном из самых важных аспектов этих изменений, вызванных спонтанными и вынужденными перемещениями по Европе больших групп населения. Антологию дополняют краткие биографические сведения об авторах – должен отметить, что эти сведения, с точки зрения восприятия реальности, важны не меньше, чем сами тексты. Но ведь книга как раз об этом: о восприятии реальности.

При знакомстве с биографиями бросается в глаза тот факт, что из двадцати одного писателя пятнадцать давно живут за границей. Из родных мест их изгнали. Трое кочуют между родиной и выбранным местом проживания – вернуться насовсем не отваживаются, но регулярно приезжают. Хорошо хоть на родине иногда прекращается кровопролитие. Четверо пишут уже не на родном языке, сменили язык. В биографиях об этом не говорится, но из других источников можно узнать, что еще некоторые авторы сменили язык частично – стихи и прозу пишут на родном, а статьи на иностранном. Но ведь книга как раз об этом: о вынужденном и прекрасном многоязычии, которого в будущем нам не избежать. И не только о том, что гражданство и национальность героев или авторов больше не совпадают, реальность куда запутанней. Сложно наугад определить национальную принадлежность боснийского хорвата, которого в Загребе держат за грязного иностранца, или серба, пишущего в Канаде на сербском языке, которого в Белграде держат за грязного иностранца-еврея. Сложно, но можно. Если человека воспринимать как самостоятельное юридическое лицо, он сам сможет определить свою национальную принадлежность. Коль скоро появится у него такое желание. Расизм же пытается вмешаться в процесс принятия личного решения. И вмешивается – не сомневайтесь. Он вторгается не только в принятие решений, но, чаще всего, – в процесс размышлений о природе индивидуальных решений. Туда, где поправить что-то можно только на личном уровне, а не коллективно. Но ведь книга как раз об этом. О том, как расистское мышление становится частью повседневной регрессирующей реальности; о том, как регрессивные властные структу-

ры преследуют свои настоящие внутренние интересы, какую симуляционную тактику применяют и как с ее помощью прекраивают сначала отдельные жизни, а потом и границы. Книга эта, конечно, еще и о том, как можно противостоять косному движению назад.

Или, например, кем может считаться тот самый сербский автор, хорват по происхождению, который не просто живет за границей с пятнадцати лет, но еще и пишет по-английски. С точки зрения националистов, он, наверняка, ублюдок, дрянь и предатель родины. С позиции же трезвомыслящего наблюдателя – человек, заслуживающий уважения за свою стойкость, выполняющий функции посредника между двумя языками и двумя культурами. Он предпочел не застревать в изоляции, но рефлексировать о языке и так познает его. Духовной родиной для него стали не подполье и не симуляция. А как автор он противостоит превратным идеям патриотизма, оставаясь с родным языком, несмотря на любые националистические гонения. У языкового противостояния только и есть что эти две дополняющие друг друга формы. В одной из историй сборника есть герой, который ни разу не покидает места, где родился, но за короткую жизнь успевает трижды сменить гражданство. Подобной судьбой в наших краях никого не удивишь. Но ведь как раз об этом и рассказывает антология: о повседневной реальности невозможного, о его пленительной власти, о катастрофическом очаровании понятийной уязвимости.

Признаюсь, из самой антологии узнать, что означает здесь «юг Европы», не получится. Да и стоит ли определять или постигать смысл понятия, взятого в качестве подзаголовка, с точки зрения политической географии, этнической или культурной принадлежности. Правда еще и в том, что наука на протяжении сорока лет так и не смогла дать окончательное определение. Есть, конечно, и рамки, и направления, и научные школы, и предложения, но Рихард Шварц будто бы и не замечает их. Он даже не дает себе труда объяснить, почему оставил без внимания ту или иную страну. Уж раз он включает, в эту лишенную четкого определения группу Албанию, Болгарию, Косово, Боснию, Черногорию, Сербию, Хорватию и даже Словению – собирает их, так сказать, в одну компанию, то почему оставляет за рамками Румынию, Македонию и даже Грецию. Или если его вдруг заинтересовали жуткие последствия рухнувших социалистических режимов и борьба за их восстановление, то почему, наряду

с балканскими режимами, где картина была самая очевидная, он не стал рассматривать страны с похожей регрессией, которые лишь с виду кажутся более гибкими, т.е. Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию, Латвию, Эстонию, Литву или Украину с ее хроническими симптомами. Речь не о меньшей, а о большей половине Европы. О более слабой ее половине. В послесловии Рихард Шварц пожимает плечами.

И может себе это позволить, ведь он занимается не странами и даже не языками или регионами, но писателями. А это люди непростые. В своих рассуждениях составитель сборника останавливается на довольно тонкой разграничительной линии. Тот, кто говорит не на воровском жаргоне симуляции, понимает, почему личность не может отождествлять себя со страной и нацией, почему она становится опасной для собственной родины, когда уподобляется ей и начинает писать или проповедовать от ее имени. Граница между индивидуализмом и эгоизмом, патриотическим сознанием и национализмом, конечно, существует, и охраняется она довольно строго. Вопросы, с которыми Рихард Шварц обратился к авторам, относительно невинны, безвредны и просты, если сравнивать их с духовными, географическими, политическими трудностями и скандалами, бушующими в этом пространстве. Откуда такое недоверие к соседу? Почему ты склонен видеть в нем скорее врага, нежели друга? Откуда берется идея этнических чисток и их программа? Конечно, эти вопросы лишь на первый взгляд такие невинные и безвредные. В них содержится общепринятое (и не такое уж обосновательное) представление о Балканах как о пороховой бочке, регионе, который, по словам Бисмарка, не стоит жизни одного померанского гренадера. Сам Рихард Шварц цитирует это пресловутое высказывание в послесловии составителя антологии. Или, как модернизировала трактовку Бисмарка с размахом, присутщим представителям высших кругов, графиня Марион Дёнхоф*, сказав вечером, накануне начала войны в Косово: пусть они все перебьют друг друга, нам в это вмешиваться не следует. Шварц и сам, похоже, готов к ним присоединиться, прежде чем начинает задавать невинные, на вид, вопросы, в свете указанного представления: «Для немца или шведа все это может пока-

* Графиня Марион Хедда Ильзе Дёнхоф, Мария Дёнхоф (1909-2002) – уроженка Восточной Пруссии, дочь депутата Рейхстага и придворной фрейлины, в 1944 г. принимала участие в неудавшемся покушении на Гитлера, после войны – политическая журналистка, главный редактор газеты «Цайт».

заться чуждым, да и просто пугающим». В черновом переводе это могло бы означать, что мы должны рассматривать и трактовать недоверие к соседу, склонность видеть в людях врагов, жажду этнических чисток и их идеологическую программу как особенности местного менталитета.

При условии, что мы быстренько скажем, где кончаются границы этого чудесного края и где начинается край еще чудесней, лучший из миров, где нет злобы, эгоистичных намерений, низменной идеологии. Если бы составитель антологии не пожимал плечами, а занялся определением понятия, если бы у него были доводы «за» и «против», то, согнувшись под грузом фактов, мы бы еще могли принять к сведению барственно спущенные решения. Мы бы приняли и принцип, предложенный Бисмарком и Дёнхоф для определения специфики региона. Как бы это было прекрасно, если бы было возможно. Тогда бы за пределами наших жутких земель радикальные ирландские протестанты стали бы славными ручными агнцами, точно как их не менее радикальные и не менее славные католические братья. Тогда и баски бы взрывать перестали. И бельгийскому королю не пришлось бы думать, как сохранить свою монархию вопреки валлонам и фламандцам. И каждый человек знал бы наперед, где ему надо родиться. И шведы бы тогда, в отличие, например, от венгров со словаками, поддерживали бы самые тесные дружеские связи с норвежцами, датчанами, а главное, со столь близкими их сердцу финнами, а вчерашние конфликты и сегодняшние выкрики в пивных можно было бы записать на счет просвещенного братства и христианской любви. Тогда и шведский король Карл XII ни за что не стал бы искать союза с турками против русских, и голубцы по-шведски не называли бы турецким словом «кальдамар». Не говоря уж о том, что шведским магнатам даже в голову бы не пришло снабжать Гитлера своей сталью. Тем более за золото, происхождение и пути перемещения которого были им хорошо известны. Венгры, эмигрировавшие потом в Канаду, очищали вырванные и выбитые с зубами золотые коронки от мяса и крови прямо на месте, в Аушвице, однако в таком виде они уже не могли бы попасть в Цюрих, откуда их не везли бы дальше, в Стокгольм перелитыми в слитки в качестве компенсации за поставки боеприпасов. Этого не могло бы произойти. И шведские органы здравоохранения не стали бы сокращать число собственных шведских психических больных с помощью позаимствованной у на-

цистов программы по эвтаназии неполноценных членов общества, ведь понятие *lebensunwertes Leben* – то есть, «жизнь, недостойная жизни» им было бы не знакомо, или же они не минуты не потерпели бы присутствия столь варварской идеи в рамках своих законов. Да и немцы, вероятно, настороженно смотрели бы на извечно кровавые наклонности балканских народов, если бы не строили свою тысячелетнюю империю за счет других народов. Если бы исполнительные группы, «айнзатцкоманды»* в течении полутора лет не уничтожали бы голыми руками евреев на Украине и в России. Если бы, исходя из этой ужасной практики, им не пришлось бы подыскивать другие средства массового уничтожения. Если бы они не начали оснащать концентрационные лагеря и не превращали бы их в лагеря уничтожения на промышленной основе. Если бы не грабили и не ровняли с землей европейские города и страны.

И у шведов с немцами тоже, конечно, были бы серьезные причины насторожиться в отношении самих себя. Не будь они такими забывчивыми. И кто станет утверждать, будто забывчивости такой не существует. Нет ничего страшнее и подлее человеческой забывчивости, движимой стремлением выжить или сохранить видимость моральной чистоты. Балканская война, показанная в прямом эфире, позволила нам впервые увидеть, как происходит потеря памяти. Мы увидели человеческих самок, рыдающих над трупами собственных детенышей, – а ведь совсем недавно эти же существа, под видом кротких дочерей отчизны или в припадке национальной истерии призывали молодых самцов уничтожать детенышей других человеческих самок – всех подряд, без разбора. Было бы, конечно, не совсем справедливо возлагать ответственность за войны только на судьбу, роковое стечение обстоятельств, божественное провидение или дух соперничества, присущий человеческим самцам. Однако следует признать, что мы впервые могли наблюдать ужасающую власть эротического влечения, которое испытывают друг к другу человеческие самцы, и они же его взаимно и истово игнорируют. Мы в прямом эфире увидели, какая тонкая грань отделяет влечение, реализуемое в мирное время на трибунах

* Einsatzkommanden/Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD – спецподразделения гестапо и уголовной полиции, созданные перед началом Второй мировой войны для уничтожения в завоёванных «восточных областях» всех политических противников, коммунистов, «расово неполноценных элементов».

стадионов и в душевых спортзалов, от массовых убийств, совершаемых в изящно намотанных на головы балаклавах.

Потому-то у меня и создается впечатление, будто Рихард Шварц безжалостно провоцирует авторов, нажимая на самые чувствительные точки. И поскольку антология вышла одновременно на десяти языках – албанском, боснийском, болгарском, хорватском, македонском, черногорском диалекте сербского, немецком, сербском, словенском и венгерском (в переводе Габора Чордаша, Оршои Галош и Дёрдя Сонди), причем без того неприятного привкуса, какой бывает у переводных текстов, – то провокации подверглись и ее многочисленные читатели. Пожимая плечами и виртуозно подбрасывая расистские формулировки, составитель сборника наполняет провокацию историческим и социологическим содержанием и ставит отобранных им авторов и разноязыкую толпу читателей в неудобное положение. Большинство писателей воспринимает невинные и безвредные, на первый взгляд, вопросы совершенно серьезно. Перед богом и человеком иначе они поступить не могут – слишком тяжелый исторический опыт за спиной. Рихард, насколько я его знаю, нервно реагирует на малейшие обобщения. «Это всего лишь предположение, абстракция», – восклицает он и всегда ждет предметности, индивидуальности, а не теорий. В то же время, отсутствие способности к абстрактному мышлению для него грех. Рихард всеми силами старается придерживаться конкретики, личного опыта, не уходить в абстракцию. Мыслительный процесс он стремится привязать к личной ответственности – к ней же хочет вернуться от ответственности исторической и апеллирует к такой культурно насыщенной индивидуальной ответственности, которая в состоянии охватить самый широкий для европейского ума горизонт: Бога, мироздание, космос. Но о таких вещах Рихард предпочитает не говорить. И тут он прав – в этих пределах духа начинается территория литературы. Здесь и располагается его антология, маниакально привязанная к личности.

С писателями Шварц-составитель не слишком церемонится, располагает произведения в алфавитном порядке по именам создателей. Национальная принадлежность авторов, литературный стиль, жанр, тема и даже качество произведений решающей роли не играют. Ласло Вегел (Végel László) написал глубоко личное, сильное эссе, а Исмаил Кадаре (Ismail Kadare) предложил скомпилированный текст, уже ис-

пользованный для очередной конференции. Тексты сильно различаются по степени взыскательности, но у Кадаре перед нами мгновенно раскрывается мучительная реальность сиюминутной авторской ответственности и интеллектуального уровня, на котором проходят конференции, посвященные данному региону. Биляна Срблянович (Biljana Srbljanović) представляет так называемую правдивую историю в жанре очерка, пронизанного жалостью к самой себе. Автор испытывает по-своему острое, характерное для жителей региона чувство обиды. Вне зависимости от качества письма, чувство это очень искреннее. Наряду с системой предрассудков, бессознательно выстраиваемой писательницей, оно носит симптоматический характер, если посмотреть на эту часть Европы. Фатоса Конголи (Fatos Kongoli) можно упрекнуть в легкой зауми. Его статья сколочена из находящихся в обращении штампов относительно ситуации в регионе. Что же до грубости его языка – нельзя сказать, чтобы в этих краях подобная брутальность была редкостью. Опубликованная в сборнике басня Димитра Динева (Димитър Динев) тщательно выписана и свидетельствует о немалом таланте, однако назидательности в ней больше, чем нужно. Я вряд ли мог бы объяснить, о чем эта басня и чему она учит. Но что тут отрицать, на окраинах европейской литературы, где реальность индивидуализма только-только начала затрагивать общества, пронизанные эгоизмом и коллективизмом всех мастей, еще принято наделять поэзию и прозу учительскими функциями и даже давать им определенные задания. Еще более захватывающая и характерная притча Владимира Зарева (Vladimir Zarev) – он попал в конец антологии по прихоти латинского алфавита – лишь усиливает предположение, что здесь мы имеем дело не обязательно с неким коллективистским намерением или неприятием индивидуальности, но с куда более древним, близким к устной традиции представлением о том, как надо рассказывать истории. К счастью для читателя, антологию отличают не только жанровая и сюжетная многоликость, неоднородность стилей и уровней, но и серьезные литературные достоинства. Читателю повезло еще и потому, что составитель сборника остается совершенно бесстрастным в отношении не только национальности авторов и разнообразия жанров, но и применительно к литературной ценности текстов. Мы словно смотрим поверх голов множества талантливых авторов и видим дальше, чем каждый из них по отдельности.

Давиду Албахари (David Albahari), с его запутанной, богатой переживаниями, но немногословной и скупой на слова историей, тоже не чужды привкус первозданной устной традиции, притчевость или отрывочная балладная структура. Это писатель, который смотрит на близкое с большого расстояния. Он не участвует в событии, но описывает его поверхность. Текст может лишь следовать за формами появления загадок, их следами, за непредсказуемым ритмом. Автор наблюдает за тем тайным, подпольным, нелегальным миром, который у нас на глазах превращает самые незначительные, на первый взгляд, человеческие события в кровопролитие. Поступки при этом остаются бесшумными, безликими, безмянными. Ключевой ответ Албахари на вопросы, заданные Рихардом Шварцем, балансирует на грани паранойи. Бора Чосич (Bora Ćosić) обращается к незначительному эпизоду – вспоминает события раннего детства. (Воспоминания, кстати, занимают в антологии особое место.) Семья переезжает из Загреба в Белград, из дома с садом в городскую квартиру, и ребенок переживает это событие как катастрофу. Он изгнан из рая, лишен блаженства единого и единственного мира и языка. В то же время, мальчик открывает для себя нечто новое. «Я понял, что где-то рядом всегда существует другая жизнь, и она коренным образом отличается от нашей прежней жизни, составляет чуть ли не противоположность ей. Словно бы эта жизнь содержит некое противоречие самой себе, и достаточно одного поворота, чтобы проявилась иная, скрытая в глубине картина. Это означает, что все те же шкафы, книжные полки и папины кресла таили в себе еще одну сущность, которая лишь ждала подходящего момента, чтобы проявиться». В том старом, предвоенном мире, предвоенном городе ребенок осознает, что стал участником интриги, тайного сговора, связанного с загадочной реальностью, частью которой является и он сам. Ясное, эмоционально насыщенное, лишенное вычурности повествование Чосича придает антологии мудрости и спокойствия. Славенка Дракулич (Slavenka Drakulić) предлагает три монолога, следующие один за другим. В текст они вплетены так, словно не подвергались никакой обработке и вполне могут быть документальными свидетельствами. Автор фиксирует их на базе живой речи. Славенку Дракулич давно занимает тема свидетеля, очевидца, его роли и распределения ролей, однако, применительно к событиям писательница остается настолько невозмутимой, будто моральная сторона ее не

интересует. Она ведет себя резко, стремится оставить след. Остальное зависит от вас. За грубостью кроется богатство чувств. В один прекрасный день Верица понимает, что ее отец во время войны участвовал в массовых расправах, и перестает говорить, молчит и дома, и в школе. Анте, хоть и серб, – лучший друг хорвата Марко, и потому все ребята с их улицы вместе отправляются на войну, где учатся убивать и переживать смерть друг друга. До тех пор, пока Марко не начинают одолевать сомнения: не он ли стал убийцей родителей Анте. Последний на протяжении почти трех с половиной страниц, убивает своего лучшего друга, мучимый догадкой и страдающий от потери. Убивает. И текст совершает это убийство вместе с ним, запечатлевает на веки вечные. Мусульманская семейная пара нехотя, против своей воли вынуждена взять в дом брошенного сербского младенца всего двух дней от роду. Тем самым они вступают на путь, где им суждено испытать презрение и унижение со стороны соплеменников. Муж и жена осознают, что обрели счастье с этим ребенком, но еще они знают, что ребенок этот будет страдать до самой смерти. Александр Хемон (Aleksandar Hemon) пробует измерить бездну ненависти к чужому, погружаясь в магические слои человеческого сознания, и начинает с самых глубоких и древних ощущений. Он вспоминает, как в возрасте четырех с половиной лет хотел убить только что принесенную из роддома новорожденную сестру. Ведь она вторглась в его мир, забрала, присвоила главное сокровище самолюбия – исключительное внимание родителей. Автор внимательно исследует убийцу в самом себе, осознает способность, готовность совершить преступление. Намерение от самого убийства почти ничто не отделяет. Присутствие инстинкта убийцы, которое всю жизнь налично в сознании, можно либо возненавидеть, либо претерпеть. Из вполне частных историй у Хемона получается внятное, мастерски выстроенное эссе. Он вскрывает механизм, демонстрирует элементы, необходимые для формирования и запуска инстинкта убивать. Мудрость автор черпает исключительно из самопознания, которое одновременно есть познание мира и человека. Вместе со своими родителями он переносит нас и в эмиграцию, где замеряет не только уровень ненависти посторонней среды к чужакам, но и глубину ненависти со стороны эмигрантов. Тексты Миленко Ерговича (Miljenko Jergović) – нечто среднее между эссе и мемуарной прозой. Точно Аттила Йожеф заговорил своим измученным сомненьями фальцетом. «И эту историю, которую я

сейчас описываю и к которой я, увы, ничего не присочинил и не прибавил, я уже несколько раз рассказывал». Да и как ему оторваться от истории собственной многонациональной семьи. Членов ее судьба бросает из стороны в сторону – в лагерь, в армии, города, кидает в идеологии, обращает в бегство, делает жертвами катастроф. Они бегут и сами, подталкивая друг друга. Ергович рисует портреты, делает меткие зарисовки, приближая к героям так близко, что они уже не могут быть чужими. Чарльз Симич (Charles Simic) тоже творит на стыке мемуаров и эссеистики. Не будучи заранее знаком с антологией Рихарда Шварца, он со смертоносной уверенностью задает тон ее участникам. «Задача интеллигенции – придумывать оправдания для тех, кто убивал женщин и детей. А журналисты и комментаторы призваны распространять ложь, а потом доказывать ее достоверность. Я сразу признал, что мой собственный народ просит меня стать его соучастником в преступлении; я должен делать вид, будто понимаю и прощаю поступки, о которых мне известно, что они непростительны».

Мне же, среди всех этих замечательных литературных достижений, милее всего новелла Ирены Врклян (Irena Vrkljan) «Планета Мила». Как можно узнать из венгерского комментария, который несколько отличается от справки к немецкому изданию, Ирена Врклян родилась в Белграде, выросла в Загребе, закончила Берлинскую киношколу, пишет по-хорватски, а известность ей принесла книга о Марине Цветаевой. Между этими женщинами словно существует некая тесная, сестринская связь, тонкость чувств, быстрота идей, эмоциональная трепетность. Врклян рассказывает эмигрантскую историю двух творческих личностей, семейной пары, Милы и Ивана – они бежали из Белграда и поселились в районе Веддинг, на севере Берлина, где страдают от нужды и одиночества. Молодыми их уже не назовешь. Мила – поэт, но стихов больше не пишет, Иван – художник, но он, кроме как рисовать, больше ничего не умеет. Есть что-то, чего они не могут забыть, но об этом так и говорится. Как будто сама Цветаева рассказывает эту грустную, изящную историю, полную красоты, ужаса и острых поворотов сюжета. Однако автор не заимствует стиль Цветаевой – у той все было куда яростней, страсти в клочья, – но пишет с присущей русской поэтессе чуткостью по отношению к чужим судьбам, самоотверженным и жертвенным настроем, свободным от геройства и жалости к себе. Так, в общем голосе,

должно быть, слышится родственная связь. Вркляна пишет о дружеских чувствах, которые рассказчица питает к Миле, и как автор вплетает в ткань повествования похожие по складу личные черточки Цветаевой и обрывки историй ее парижской эмиграции. Таким образом нам удается заглянуть в этой истории очень далеко и неожиданно увидеть не только печаль и ужас, но и ее красоту. Признаюсь, от этого зрелища у меня перехватило дыхание.

Помню, как в том давнем фантастическом путешествии мы проезжали где-то близ Брашшо и Сегешвара. На относительно прилично отремонтированном шоссе машин не было вообще. Ни одного транспортного средства. Ни спереди, ни сзади. Глазу не за что зацепиться – только асфальтовое полотно, прямое как стрела, со всей той ерундой, что мы с собой набрали. Ехали мы долго, в хорошем темпе, не торопясь, с комфортом, безо всякого напряжения. И настроение у нас было приличное. Вокруг тянулась равнина: ощущение было такое, будто рука господня подняла нас над земной плоскостью и унесла в пустоту. Над нами – безоблачное небо. До горизонта, обозначенного горными хребтами, – ничего, пустота. Набирая силу, блестело весеннее солнце. Над прогретой почвой по всей равнине стоял синевящий туман, точно голубой легкий ветерок. Повсюду покой и безветрие. Мы уже никуда не торопились. В предшествующие дни нам иногда удавалось избавиться от сопровождения спецслужб – не сказать, чтобы совсем без затруднений, но по адресам и телефонам в Шепшисентдёрде и Марошвашархее* «отработать» удалось как следует. Журналисты смогли увидеть и услышать много такого, о чем раньше имели лишь смутное понятие или вообще не знали. Профессиональное напряжение, наконец, спало. Сопровождающие нас лица периодически осмеливались подойти к нам совсем близко, постоянно шуршали где-то рядом своими плащами из болоньи, но это тоже было частью приключения. Один раз двое специально толкнули Мануэля, сбегая со второго этажа, журналист ударился об стену. Двое исчезли в коридоре, ведущем вниз, в подвал. Мануэль выскочил из здания, а я навалился на перила и какое-то время простоял так – не

* Румынские названия городов: Сфынтул-Георге и Тыргу-Муреш, соответственно.

хватало воздуха. Они могли незаметно избить нас на той лестнице, но, судя по всему, приказа такого не было. Насилия нам удалось избежать, все остались целы. Последнего агента из Секуритате мы засекали в холле гостиницы, он явно поджидал нас, но, видимо, ему дали указание не мешать.

В какой-то момент Сюзанна вдруг сбавила скорость и затормозила. Мы с заднего сидения спросили, что произошло. Сюзанна с Рихардом открыли передние двери, точно сговорились. Стало件нятно, что ничего такого не случилось – просто захотелось послушать тишину. Свет, воздух, тепло. Мы сзади тоже распахнули двери. Сидели вчетвером и слушали тишину над воспарившим в воздухе пейзажем. Потом снова пустились в путь. Притихшие, слегка погрузневшие, но, в любом случае, счастливые. Яркое солнце, до горизонта бескрайняя равнина. На шоссе ни машины. Вокруг ни деревца, ни кустика. Тени взятыя неоткуда. Сложно было предугадать, что могут возникнуть проблемы с видимостью.

Как вдруг, справа по направлению движения, с самой середины поля в нашу сторону выдвинулась крохотная точка. Я еще подумал, грузовик едет по проселочной дороге, но внимания особого не обратил. По мере приближения, он стал набирать скорость. Я сидел как раз с той стороны, где мог это заметить, но с чего я должен был интересоваться скоростью и лошадиными силами. Почему я должен был предвидеть, что может произойти. На пересечении с шоссе грузовику следовало бы остановиться и подождать, пока мы проедем – об этом я тоже, по идее, не должен был задумываться. Однако, вместо того, чтобы сбавить скорость, транспорт понесся прямо на нас. Это был военный грузовик. Поначалу он будто навалился всей массой, вдруг все потемнело, и за этим, должно быть, последовал оглушительный хлопок от столкновения двух предметов, после чего раздался скрип и грохот. Мы, наверное, немного пролетели по воздуху, шлепнулись оземь и соскользнули на противоположную сторону дороги. Я видел, как Сюзанна высоко подняла голову, ждал, что она предпримет. Присутствия духа Сюзанна не потеряла. Удержать автомобиль на дороге она не могла, но практически удержала. Видимо, она сняла ногу с педали газа, чтобы мы не опрокинулись в мелкую придорожную канаву, а, покачиваясь, приземлились на плоской равнине без повреждений. Только одно заднее колесо застряло в канаве. Все четыре двери удалось открыть. Военный грузовик с грозными бамперами остановился сзади нас, на пере-

крестке, уровнем повыше. Сначала – немая тишина, шок. Остальные живы, а это, скорее всего, означает, что и я еще жив. Потом мы, каждый на своем языке, заорали друг на друга и на единственного солдата, сползшего с высокого сидения грузовика. На лбу у него виднелась кровь. Ощупывая живот и пошатываясь, водитель направился к нам. Лет ему было не больше двадцати. Трезвый. Мы тоже сделали несколько шагов навстречу. И, словно нас, троих мужчин, там не было, солдат схватил за руку Сюзанну и принялся кричать и умолять ее по-румынски. Словно просил у нее, только у нее прощения за страшную ошибку, проступок, или совершенный грех, молил о пощаде, о милосердии. Может, за будущий грех. Он ведь сделал это, и все равно остался невиновен. Повезло. И все равно я не мог отогнать от себя мысль, что сделал он это по приказу спецслужб. Солдат будто хотел приклеиться к сюзаннинной руке, поцеловать ее. Он, наверное, был счастлив, что эта молодая женщина со сверкающей копной светлых волос осталась цела и невредима. А мы кричали, перебивая друг друга – по-шведски, по-французски, по-румынски и по-венгерски. Солдат был грязный, по шею в машинном масле, от него дурно пахло, шапка сползла на затылок. Положение усугублялось еще и тем, что он все время плакал и подвывал. Потом, безо всякого перехода, парень вдруг провел пальцем по слегка помятому темно-синему боку нашего автомобиля – будто прикоснулся к священной реликвии – и бросился назад, к своему грузовику. Никто не двинулся с места. Солдат откуда-то вытащил буксирный трос, чтобы, содрогаясь от рыданий, вытащить из канавы дорогую шведскую машину. Сделать это было непросто, от возмущенных сторон потребовалось спокойствие и здравый рассудок. Мы никогда не сможем узнать, никогда не узнаем, что это было. Что это было. Сколько голову ни ломай.